Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и хотел он сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил – только боль. Во всем теле… Белые сумерки тихо плыли над нагретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале ствола его нагана. Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. И тут он прислушался, замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты. В сотне метров начиналась поляна с прогнившим срубом колодца и перекосившейся, въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там – враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц. В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь. Старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой. Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал – переливал тяжесть по капле, чтоб не хрустнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел – поплыл. И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, когда успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и сейчас, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного, решающего удара. Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу. – Хенде хох!.. А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал: в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот его скок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, фрица швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал: – Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!.. И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал. Нет, не крика они испугались. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли: мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, прыткий самый, уж на том свете числился. И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти слезы, и кричал: – Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро! А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!.. А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся… …Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть спуск автомата нажать, прежде чем сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец…

Но лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские…

Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и хотел он сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил – только боль. Во всем теле… Белые сумерки тихо плыли над нагретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале ствола его нагана. Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. И тут он прислушался, замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты. В сотне метров начиналась поляна с прогнившим срубом колодца и перекосившейся, въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там – враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц. В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь. Старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой. Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал – переливал тяжесть по капле, чтоб не хрустнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел – поплыл. И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, когда успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и сейчас, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного, решающего удара. Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу. – Хенде хох!..

А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал: в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот его скок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, фрица швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал: – Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!.. И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал. Нет, не крика они испугались. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли: мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, прыткий самый, уж на том свете числился. И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти слезы, и кричал: – Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро! А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!.. А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся… …Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть спуск автомата нажать, прежде чем сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец… Но лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские…